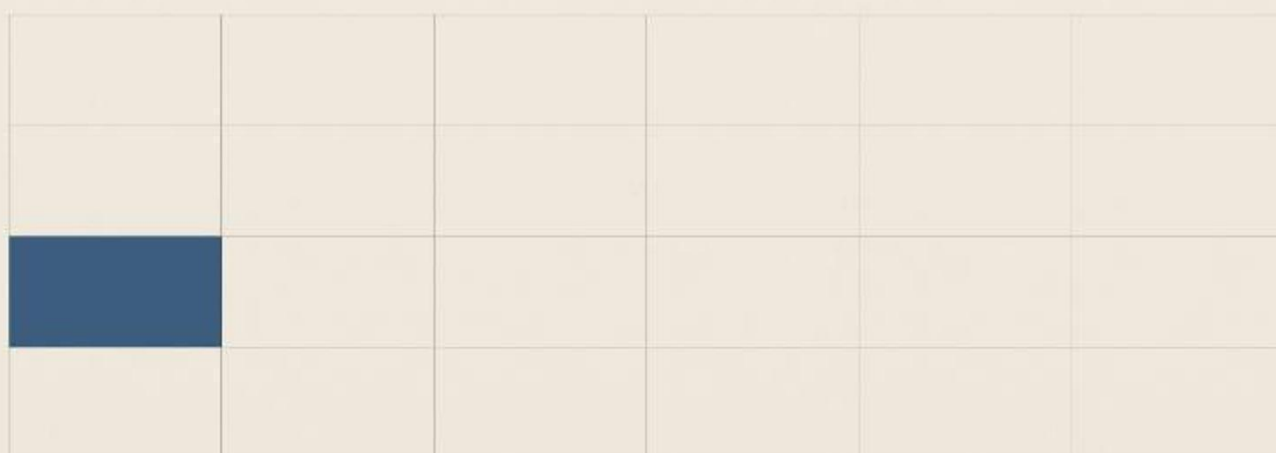


IV

КНИГА ЧЕТВЁРТАЯ · РОМАН

ПОЛИКЛИНИКА

У болезни нет расписания.



«Поликлиника — это место, где государство проверяет, достаточно ли ты болен, чтобы тебе помочь».

из этой книги

Александр Жарков

Поликлиника

«Автор»

2026

Жарков А. В.

Поликлиника / А. В. Жарков — «Автор», 2026

У Тимура Ахметова есть шаурмичная у автовокзала, очередь, касса и отец, который утром забывает, зачем пришёл, а вечером ищет автобус до Казани. Диагноз звучит как приговор: сосудистая деменция. Врач не утешает: «Он не выздоровеет. Вы тоже». Жизнь Тимура делится на до и после: поликлиника, бумаги, ночные дежурства, замки на двери и записки. Рядом — Оксана, которая хочет свадьбу, застройщик, который хочет купить его место, и вечерняя группа в шаурмичной, куда приходят те, кому больше некуда прийти. Роман о том, как стать взрослым, когда отец снова становится ребёнком, и о людях, которые держат друг друга, пока держат.

© Жарков А. В., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Пролог. Вершинин	5
1. Шаурма	7
2. Пожар	10
3. Поликлиника	14
4. Диагноз	17
5. Оксана	20
6. Ночь	23
7. Дом	26
8. Деньги	29
Конец ознакомительного фрагмента.	32

Александр Жарков

Поликлиника

«Человек должен трудиться, работать в поте лица, кто бы он ни был, и в этом одном заключается смысл и цель его жизни, его счастье, его восторги».

Антон Чехов. Три сестры

«Поликлиника — это место, где государство проверяет, достаточно ли ты болен, чтобы тебе помочь».

Из этой книги

Пролог. Вершинин

В июне две тысячи десятого я держал в руках чужие двести килограммов.

Это были не двести килограммов чего-то одного. Это были доски, фанера, мешки с опилками, банки с краской, старый диван, который мы вытащили из кабинета директора, и самовар. Самовар был не мой. Самовар был из кладовки Дома культуры, 1957 года, с вмятиной на боку и медалью на груди, как у ветерана. Я нашёл его между коробками с ёлочными игрушками, вымыл, почистил кирпичом и вынес на сцену. Он весил как маленький двигатель.

Мне было семнадцать. Я играл Вершинина и строил декорации. Вернее, наоборот: я строил декорации и должен был играть Вершинина, потому что Аркадий Борисович сказал, что человек, который держит в руках весь спектакль, должен хотя бы раз выйти на сцену.

— Ты не актёр, — сказал он. — Это хорошо. Актёры думают, что сцена существует для них. А ты знаешь, что она существует, пока её кто-то держит.

Я держал. Я сколотил стену с окном, покрасил её в цвет старой листвы, сделал из фанеры печь, повесил занавес, который до этого висел в актовом зале школы № 7. Я принёс из дома дрель, удлинитель и отцовский ящик с инструментами. Отец не знал. Если бы знал, сказал бы: «Ты лучше бы автобус помыл».

Отец водил автобус номер три. Он вставал в четыре утра, возвращался в восемь вечера и пах дизелем, потом и немного чаем. Он не любил театр. Он говорил: «Театр — это когда взрослые люди притворяются, что им не стыдно». Но на мой спектакль он пришёл.

Он пришёл в форме. В белой рубашке, в галстук, в фуражке, которую носил только на сменах. Он опоздал на десять минут и стоял в дверях, потому что места в зале закончились. Я видел его из-за кулис. Он стоял у стены, держал фуражку в руках и смотрел на сцену так, будто проверял расписание.

Я играл Вершинина, подполковника. Вершинин должен был сказать, что через двести, триста лет жизнь на земле будет невообразимо прекрасной. Я знал этот монолог. Я репетировал его в автобусе, когда ездил с отцом на последний рейс. Я репетировал его, когда резал хлеб. Я репетировал его, когда красил стену с окном.

Но на сцене я увидел отца в дверях, и у меня в голове открылась пустая комната. Не дверь. Комната. Со стенами, окном и выключенным светом.

Зал ждал. Партнёры смотрели на меня. Я стоял в пиджаке, который был мне велик, и молчал.

Из-за кулис раздался голос Аркадия Борисовича. Он не шептал. Он говорил так, как говорят в пустом зале:

— Играй. Потом разберёшься.

И я сказал:

— Я думал, что счастье — это когда едешь по знакомому маршруту и все остановки твои. А потом оказывается, что маршрут изменили, а ты всё равно едешь.

Это был не Чехов. Это была правда. В зале кто-то засмеялся. Не зло. От неожиданности. Я пошёл дальше и говорил ещё четыре минуты — про дорогу, про людей, которые выходят на остановке «Строитель», про то, что человек может всю жизнь водить автобус и не знать, куда едут его пассажиры.

Отец стоял в дверях и не смеялся. Он смотрел на меня так, будто я вёл автобус, а он проверял, не отклонился ли я от маршрута.

Когда занавес закрылся, у меня дрожали руки. Аркадий Борисович вышел из-за кулис и сказал:

— Ты забыл текст.

— Я знаю.

— Но ты не остановился.

— Вы же сказали.

— Я сказал играть. А ты сказал правду. — Он поправил мне воротник. — Сцена держится на тех, кто не на виду. Но иногда им нужно выйти.

Он ушёл. Через шестнадцать лет я узнаю, что это была лучшая рецензия в моей жизни.

После спектакля отец ждал меня у служебного входа. В руках у него была фуражка и пакет с пирожками. Пирожки были холодные. Он купил их в буфете до начала и держал на коленях весь первый акт, потому что боялся, что после второго их не останется.

— Ты забыл текст, — сказал он.

— Все говорят.

— Я не заметил.

— Ты стоял в дверях.

— Я слышал.

Он протянул мне пирожок. Я взял. Внутри была картошка с луком. Самая дешёвая. Самая вкусная.

— Нормально всё, — сказал он. — Главное — доехал.

Мы пошли на автовокзал. Последний автобус уже ушёл. Отец открыл ворота депо, потому что у него были ключи, и мы сели в пустой автобус номер три. Он позволил мне сесть за руль. Я не поехал. Я просто держал руки на руле, а он сидел рядом и говорил:

— Вот здесь поворот. Здесь остановка. Здесь школа. Здесь люди выходят.

Я кивал. Мне было семнадцать. Я думал, что сцена — это место, где я кому-то нужен.

Через шестнадцать лет я узнаю, что нужен не сцене.

1. Шаурма

В шесть утра автовокзал пахнет дизелем, мокрым асфальтом и хлебом.

Хлеб привозят в пять сорок. Женщина с рынка, тётя Зоя, ставит ящики у ларька и говорит, что сегодня опять подорожал сахар. Я говорю, что сахар подорожал в прошлый вторник. Она говорит, что с тех пор он подорожал ещё два раза. Мы оба знаем, что она права, и оба делаем вид, что это новость.

Я открываю шаурмичную в шесть. На вывеске написано «У Тимура». Буква «У» отклеилась ещё в прошлом году, и теперь вывеска выглядит как «Тимура». Люди думают, что это имя, а не притяжательное. Я не спорю.

Внутри двенадцать мест: четыре стола, восемь стульев и стойка. На стене висит расписание автобусов. Я его не менял с тех пор, как сел на это место. Оно всё равно меняется само: кто-то приходит, кто-то уходит, кто-то отменяет рейс и пишет об этом на листочке, приклеенном к стеклу.

За стойкой у меня плита, гриль, фритюрница и холодильник. Холодильник гудит так, будто ему семьдесят лет. Ему девять. Он просто работает как мой отец.

Отец приходит в шесть двадцать. Каждый день. Он садится у окна, кладёт руки на стол и смотрит на автобусы. Он не заказывает. Я сам приношу ему чай и половину лепёшки. Он говорит:

— Я не голоден.

Потом съедает.

Он был водителем сорок лет. Сорок два, если считать армию. Он знает расписание лучше, чем я знаю свою выручку. Он говорит: «Первый в шесть пятнадцать, второй в шесть сорок, третий в семь десять, если не сломается». Третий обычно ломается.

В то утро он пришёл в куртке. На улице было плюс двадцать четыре, август, и все ходили в футболках. Он был в куртке, в шапке и с шарфом. Шарф он держал в руке, потому что ему было жарко, но снять боялся. Я спросил:

— Ты куда собрался?

— На смену.

— У тебя нет смены.

— У меня смена в семь.

— Ты на пенсии.

Он посмотрел на меня. В его глазах не было ни удивления, ни злости. Было что-то другое. Как будто он смотрел на человека, который говорит на чужом языке, но очень старается.

— Я на пенсии, — согласился он. — Но смена есть.

Я налил ему чай. Он взял чашку, но не выпил. Он держал её так, как держат руль: двумя руками, чуть наклонив.

В семь пришёл Марат. Марат водит третий маршрут. Он худой, злой и добрый одновременно. Он заказал шаурму без лука и сказал:

— Твой отец сегодня был в депо.

Я перестал резать помидор.

— Когда?

— В четыре утра. Стоял у ворот и стучал. Я говорю: «Рашид-абый, ты чего?» А он говорит: «Ключи забыл». Какие ключи, если он двенадцать лет не работает?

Я посмотрел на отца. Он сидел у окна и макал лепёшку в чай. Он делал это всегда, сколько я себя помню. Лепёшка в чае — это не еда. Это привычка человека, который экономит заварку.

— Он перепутал, — сказал я.

— Он не перепутал, — сказал Марат. — Он сказал: «Первый рейс, пассажиры ждут».

Я свернул ему шаурму. Марат взял и ушёл. На прощание он сказал:

— Ты бы сводил его к врачу.

— Свою.

— Ты уже год говоришь «свою».

Я ничего не ответил. Я вернулся к отцу.

— Ты был в депо?

— Был.

— Зачем?

— Хотел проверить, как автобус.

— Он в порядке.

— Он не в порядке. У него правое зеркало болтается. Я говорил механику, а он забыл.

Отец говорил спокойно. Он был уверен в том, что говорит. В его голосе не было ни капли сомнения. Это было самое страшное. Не то, что он врал. То, что он не врал. Он действительно видел автобус, у которого болталось зеркало. Он видел его в своей голове, и там оно болталось с 1998 года.

— Пап.

— Что?

— Как меня зовут?

Он посмотрел на меня. Долго. Он смотрел на мои руки, на мою футболку, на нож, который я держал.

— Тимур, — сказал он. — Ты думаешь, я сумасшедший?

— Нет.

— Я забываю слова. Это не значит, что я забываю сына.

Он отложил лепёшку. Встал. Взял куртку. И пошёл к двери.

— Куда ты?

— Домой. У меня смена завтра.

Я не остановил его. Я смотрел, как он идёт по перрону — медленно, ровно, как человек, который знает, где находится выход. Он нёс куртку на руке, и шарф волочился по асфальту.

В обед я закрыл шаурмичную на тридцать минут и поехал к нему. У него был старый дом на Железнодорожной, одна комната, кухня и коридор, в котором всегда пахло луком и валерьянкой. Я открыл своим ключом.

В коридоре было тихо. На кухне горел газ. Синим огнём, без кастрюли. Просто горел. На плите лежало полотенце, край которого уже почернел. Окно было закрыто. В комнате пахло газом так, что у меня закружилась голова.

Отец сидел на диване и смотрел телевизор. По телевизору шла передача о путешествиях.

— Ты газ забыл, — сказал я.

— Я чай хотел.

— Ты газ забыл, — повторил я. — Ты мог взорвать дом.

Он посмотрел на меня. Потом на кухню. Потом опять на меня.

— Нормально всё, — сказал он. — Я бы услышал.

Я закрыл газ. Открыл окна. Выключил телевизор. Стоял посреди кухни и смотрел на почерневшее полотенце. Руки у меня дрожали. Не от страха. От злости. На него. На себя. На то, что я год говорил «свою» и не свёл.

— Собирай вещи, — сказал я.

— Куда?

— Ко мне.

— У меня смена.

— У тебя нет смены, — сказал я. — У тебя никогда больше не будет смены.

Он ничего не ответил. Он встал, пошёл в комнату и достал из шкафа маленький чемодан. В чемодане лежали две рубашки, свитер, бритва и фотография. На фотографии была молодая женщина с ребёнком на руках. Ребёнок был я. Женщина была моя мать. Она умерла, когда мне было три.

Я взял чемодан. Он был лёгкий. Легче, чем самовар.

2. Пожар

Пожар случился на следующий день.

Я не был в этом виноват, но чувствовал себя так, будто был. Я привёз отца к себе вечером, устроил его в комнате, постелил чистое бельё, положил рядом бутылку воды и сказал:

— Если что-то нужно — стучи в стену. Я за стеной.

Он сказал:

— Я не маленький.

Утром я ушёл в шаурмичную в пять сорок. Он спал. Я оставил ему записку: «Чай на столе. Газ не включай. Я вернусь в три». Записка была большими буквами. Я писал её, как пишут объявление о пропаже.

В девять позвонил дядя Володя, сосед с третьего этажа.

— Тимур, у тебя дым.

Я бросил гриль. Я бежал через двор в фартуке, с ножом в кармане, и люди оборачивались. В подъезде пахло горелой тряпкой. На моей площадке стоял дым, серый, тяжёлый, и дядя Володя бил в дверь ногой.

— Он не открывает!

Я открыл своим ключом. Кухня была в дыму. На плите горело полотенце, занавеска и половина пластиковой доски для резки. Отец стоял рядом с ведром воды и смотрел на огонь. Он не тушил. Он наблюдал.

— Пап!

— Я хотел чаю, — сказал он. — А оно загорелось.

Я схватил огнетушитель, который держал в шаурмичной на случай проверки. Пена залила плиту, полотенце, занавеску и отца. Он стоял белый, с ведром в руке, и моргал.

— Я хотел чаю, — повторил он.

Приехали пожарные. Молодой парень в форме осмотрел кухню, записал что-то в планшет и спросил:

— Кто оставил газ?

— Я, — сказал отец.

— Зачем?

— Чай.

Пожарный посмотрел на меня. Я сказал:

— Он не помнит.

— Он ваш отец?

— Да.

— Ему нужно к врачу.

— Мы идём.

— И присматривать.

— Я присматриваю.

Пожарный закрыл планшет. На прощание он сказал:

— У нас в прошлом месяце такой же дед сжёг квартиру на Гагарина. Тоже хотел чаю.

Соседи успели.

Он ушёл. Через десять минут пришла женщина из управляющей компании. В руках у неё была папка и телефон. Она сфотографировала плиту, полотенце, стену. Потом сказала:

— Кто собственник?

— Я.

— Договор аренды?

— Я собственник квартиры.

— Ещё лучше. — Она открыла папку. — Нарушение правил пожарной безопасности. Штраф. Пять тысяч.

— За что?

— За то, что ваш отец устроил пожар.

— Он не устроил. Он хотел чаю.

— Это не имеет значения. — Она посмотрела на отца. — Имеет значение, что горело.

Отец сидел на табуретке. Он смотрел на неё. Потом сказал:

— Я заплачу.

— Пап.

— У меня есть. — Он полез в карман тренировочных штанов. Достал носок. В носке были деньги. Старые, сложенные вчетверо. Он протянул ей пять тысяч. — Вот.

Женщина посмотрела на деньги. Потом на меня.

— Не надо, — сказал я. — Я заплачу.

— У меня есть, — повторил отец. — Я работал.

— Пап, это не твоя вина.

— Это моя кухня.

Он держал деньги. Рука не дрожала. Женщина взяла. Выписала квитанцию. Ушла. Отец посмотрел на квитанцию. Потом сказал:

— Я теперь преступник?

— Нет.

— А кто?

— Человек, который хотел чаю.

— Это не преступление.

— Нет.

— Хорошо.

Дядя Володя принёс тряпку и начал вытирать пол. Отец сел на табуретку и смотрел, как мы убираем. Потом сказал:

— Я вам мешаю.

— Не мешаешь.

— Мешаю. Я вижу.

Я выбросил сгоревшую доску в мусорный пакет. Полотенце отправил туда же. Занавеску пришлось снять: от неё осталась половина.

— Ты не мешаешь, — сказал я. — Ты живёшь.

— Это одно и то же, — сказал он.

Я не нашёлся, что ответить. Он был прав чаще, чем мне хотелось.

Ночью, когда он уснул, я нашёл в шкафу старый термос. Зелёный, с вмятиной. Отец брал его на смену. В термосе он носил чай. Не себе. Пассажирам. Он говорил: «Человек едет, ему холодно. Дай ему чаю, и он доедет».

Я не знал, что делать с термосом. Выбросить было нельзя. Оставить — тоже. Я поставил его на полку рядом с фуражкой. Утром отец увидел.

— Мой, — сказал он.

— Твой.

— Я его искал.

— Нашёл.

Он взял термос. Открыл. Понюхал. Закрыв.

— Пустой, — сказал он.

— Пустой.

— Надо налить.

— Налить.

Я налил чай. Он закрыл термос и поставил на стол. Потом сказал:

— Теперь можно ехать.

— Куда?

— Домой.

— Ты дома.

Он посмотрел вокруг. Потом на меня.

— Тогда зачем ехать?

— Не знаю.

— Вот и я не знаю.

Он сел. Термос стоял перед ним. Чай внутри остывал. Но он был.

Пришла Оксана. Она работала в поликлинике медсестрой и умела входить в чужой дом так, чтобы никто не почувствовал себя больным. Она принесла пакет: бинт, пластырь, антисептик, шоколадку. Она посмотрела на кухню, на отца, на меня и сказала:

— Его нельзя одного.

— Я знаю.

— Ты знаешь, но ты надеешься.

— На что?

— На то, что он будет как раньше.

Она подошла к отцу и присела рядом.

— Рашид-абый, как вы?

— Нормально, — сказал он. — Только чай холодный.

Она налила ему чай. Он взял чашку двумя руками и выпил до дна. Потом посмотрел на неё и сказал:

— Ты хорошая девушка. Тимур тебя не заслуживает.

— Я знаю, — сказала Оксана.

Она осталась до вечера. Мы отмыли кухню, сняли занавеску, проверили проводку. Я вынес мусор. Во дворе пахло гарью и мокрой листвой. Август заканчивался, но листья ещё держались.

Вечером мы сидели на кухне втроём. Отец спал в комнате. Оксана сказала:

— Ему нужен уход. Не такой, как ты. Настоящий.

— Я настоящий.

— Ты работаешь двенадцать часов в день. Ты не можешь быть настоящим круглосуточно.

— Я могу.

— Ты можешь месяц. Два. Потом сломаешься.

— Я не сломаюсь.

— Все так говорят.

Я посмотрел на неё. Она была уставшая. У неё были тёмные круги под глазами, и не потому, что она плохо спала. Потому что она работала в поликлинике, где каждый день кто-то умирал или узнавал, что будет умирать.

— Ты меня бросаешь? — спросил я.

— Я тебя не бросаю. Я тебя предупреждаю.

— Это хуже.

— Это честнее.

Она встала, помыла чашку и поставила её в сушилку. Потом сказала:

— Завтра я запишу его к неврологу. На восемь. Приходите к семи, чтобы занять очередь.

— К семи?

— К семи.

Она ушла. Я остался на кухне. В комнате спал отец. На кухне пахло пеной, гарью и чаем. Я достал из ящика документы: полис, СНИЛС, паспорт, выписку из больницы, которую он

не показывал. Я разложил их на столе и смотрел, как на карту местности, которую я не умею читать.

В бумагах была фотография. Та же, что в чемодане: молодая женщина с ребёнком. На обороте было написано: «Рашид, не забывай. Гульнара».

Я перевернул фотографию. Я знал это имя. Оно было в свидетельстве о рождении и в какой-то старой бумаге. Но отец всегда говорил, что мать умерла. Я не спросил, почему на фотографии написано её имя, а не «мама». Я не спросил, почему он хранит её в документах, а не в рамке.

Я положил фотографию обратно. Тогда я ещё не знал, что она значит.

3. Поликлиника

В семь утра поликлиника пахнет хлоркой, мокрыми куртками и очереди.

Очередь начинается на улице, у крыльца. В восемь её запускают в холл, но к семи на ступенях уже стоят двадцать человек. В основном женщины. Они стоят с сумками, с папками, с бутылками воды. Некоторые сидят на бордюре. Одна женщина принесла с собой раскладной стул и вязание.

Мы пришли в семь десять. Очередь посмотрела на нас и сдвинулась. Не враждебно. Просто люди, которые стоят здесь с шести, не любят тех, кто приходит в семь.

— В первый раз? — спросила женщина с вязанием.

— Да.

— К неврологу?

— Да.

— Тогда вам не в эту очередь. Эта к терапевту. Невролог на втором этаже, но талон всё равно здесь.

Она объяснила, куда идти. Я поблагодарил. Она посмотрела на отца, который стоял рядом и держал куртку на руке, и сказала:

— Ваш?

— Мой.

— Не оставляйте его одного в коридоре. У нас тут женщины бдительные. Или потеряют, или накарячат.

В восемь открыли двери. Толпа сдвинулась и пошла вперёд. Все знали, куда идти. Я не знал. Отец знал. Он уверенно пошёл к третьему окну и сказал:

— Мне к неврологу.

— Талон? — спросила регистраторша, не поднимая головы.

— Какой талон?

— Электронный. Через терминал или через интернет.

— У меня нет интернета.

— У кого-то из родственников есть.

Я подошёл и сказал:

— Я запишу.

Регистраторша посмотрела на меня. Она была молодая, с уставшими глазами и наушником в ухе. На стойке стояла табличка: «Окно № 3. Приём документов». Она сказала:

— Паспорт, полис, СНИЛС.

Я выложил документы. Она проверила их, щёлкнула мышкой и сказала:

— К Алло-й Дмитриевне. Второй этаж, кабинет двадцать семь. Но у вас нет талона. Талон на четырнадцать сорок.

— Мы записались на восемь.

— На восемь нет.

— Медсестра сказала.

— Какая медсестра?

— Оксана.

Регистраторша посмотрела на меня. Её лицо не изменилось, но голос стал другим.

— Оксана Владимировна не записывает. Она медсестра, а не регистратор. — Она помолчала. — Но если она сказала, идите. Алла Дмитриевна примет.

Она сказала это так, будто делала одолжение не мне, а Оксане. Я поблагодарил. Мы пошли на второй этаж. Лифт не работал. На двери висела бумажка: «Лифт на ремонте. При-

носим извинения за временные неудобства». Бумажка была старая, пожелтевшая, с прошлого года.

Отец поднимался медленно. На середине лестницы он остановился и сказал:

— Я тут работал.

— Ты работал в автобусе.

— Я возил людей сюда. Они выходили на этой остановке.

— Это не работа.

— Это маршрут, — сказал он.

На втором этаже сидели люди. Кабинет двадцать семь был в конце коридора. Перед ним стояли шесть человек. Мы сели на свободные места. Отец снял куртку и положил её на колени. Он смотрел на дверь кабинета, как смотрят на табло с задержкой рейса.

Через сорок минут дверь открылась. Вышла женщина с папкой. Медсестра сказала:

— Рашид Ахметов.

Мы вошли. Кабинет был маленький: стол, кушетка, компьютер, весы, шкаф с папками. На стене висели плакаты о здоровом образе жизни. На плакате мужчина в белой футболке улыбался и показывал большой палец. Под ним было написано: «Живи до ста лет».

Алла Дмитриевна была женщиной лет пятидесяти пяти, в белом халате, с короткой стрижкой и усталыми глазами. Она посмотрела на отца, потом на меня, потом на документы.

— Здравствуйте. Садитесь.

Мы сели. Она открыла карточку.

— Что беспокоит?

— Он забывает, — сказал я.

— Сам скажет?

Отец сказал:

— Я не забываю. Я просто не всё помню.

Алла Дмитриевна кивнула, как будто это была формулировка из учебника.

— Давно?

— Год, — сказал я. — Может, два.

— Что именно?

— Он путает дни. Забывает, что ел. Вчера забыл газ. До этого ушёл в депо в четыре утра.

— В депо?

— Я работаю водителем, — сказал отец. — Третий маршрут.

Алла Дмитриевна посмотрела на меня. Я покачал головой.

— Он не работает двенадцать лет.

— Он так говорит, — сказала она.

— Он не врёт. Он так думает.

Она кивнула и достала из ящика лист бумаги и карандаш.

— Рашид Ахметов, нарисуйте, пожалуйста, часы. Круг и стрелки. Время — десять минут третьего.

Отец взял карандаш. Он нарисовал круг. Потом посмотрел на лист и сказал:

— Я не художник.

— Как умеете.

Он нарисовал две стрелки. Обе смотрели вверх. Он поставил точку в центре и сказал:

— Всё.

— Хорошо. Запомните три слова: яблоко, стул, монета. Повторите.

— Яблоко, стул, монета.

— Хорошо. Сосчитайте от ста по семь.

Он начал уверенно:

— Сто, девяносто три, восемьдесят шесть, семьдесят девять...

На семьдесят втором он остановился.

— Семьдесят два, — сказал он. — Дальше не помню.

— Хорошо. Вспомните три слова.

Он посмотрел на потолок. Потом на меня. Потом на свои руки.

— Яблоко, — сказал он. — Стул. И ещё что-то. Ты не говорил.

— Монета, — сказал я.

— Монета, — повторил он. — Я знал.

Алла Дмитриевна записала. Потом сказала:

— Рашид Ахметов, выйдите, пожалуйста, в коридор. Мне нужно поговорить с сыном.

Отец встал. Он вышел и закрыл за собой дверь. Я остался. В кабинете стало тихо. На плакате мужчина всё ещё показывал большой палец.

— У него сосудистая деменция, — сказала Алла Дмитриевна. — Скорее всего, смешанная. Нужно МРТ и анализы, но картина типичная.

— Что это значит?

— Это значит, что он не выздоровеет.

— Совсем?

— Совсем.

Она сказала это без паузы. Не жестоко. Просто у неё был ещё двадцать один человек до обеда.

— Есть лечение?

— Есть поддержка. Таблетки, которые замедляют. Режим. Уход. Безопасность. Но болезнь будет идти.

— Сколько у него времени?

— По-разному. Год. Три. Пять. У всех по-разному.

— А что я должен делать?

— Не спорить с ним. Не проверять его память. Не говорить «ты же помнишь». Для него это не память. Это реальность. — Она посмотрела на меня. — И ещё.

— Что?

— Вам тоже нужна помощь.

— Мне не нужна помощь.

— Это говорят все.

— Я справляюсь.

— Вы заполнили карточку, пока он рисовал часы. У вас дрожат руки.

Я посмотрел на руки. Они не дрожали. Но я понял, что она имеет в виду не руки.

— Он не выздоровеет, — сказала она. — Вы тоже.

— Я не болен.

— Вы тоже не выздоровеете. Вы уже другой человек. Тот, который был до болезни, не вернётся.

Она выписала направление на МРТ, анализы и рецепт. Протянула мне.

— Запишитесь на приём через месяц. И приходите сами. Не как сын. Как человек.

Я взял бумаги. В коридоре сидел отец. Он рассматривал плакат с мужчиной, который жил до ста лет.

— Что она сказала? — спросил он.

— Сказала, что ты здоров.

— Я знаю. — Он встал. — А ты почему такой?

— Какой?

— Как будто тебе сказали, что автобус сломался.

4. Диагноз

Слово «деменция» я впервые услышал от Оксаны, когда нам было по двадцать пять. Она училась в медучилище и рассказывала про бабушку, которая забыла, как включать плиту. Тогда это казалось далёким. Тогда мои родители были молодыми, автобус ходил по расписанию, а слово «деменция» звучало как название болезни из телепередачи.

Теперь оно было в карточке. Чёрным по белому: «Сосудистая деменция. Смешанная форма. Стадия умеренных когнитивных нарушений с тенденцией к прогрессированию».

Я прочитал это три раза. Потом ещё раз. Слова не менялись.

МРТ мы делали в областной больнице, за сорок километров. Отец всю дорогу смотрел в окно и комментировал поля. Он говорил: «Здесь раньше был совхоз», «Здесь стояла остановка», «Здесь я разворачивался». Он помнил дорогу лучше, чем я. Он не помнил, куда мы едем.

В больнице он испугался аппарата. Он сказал, что это «гроб». Я сказал, что это камера. Он сказал: «Я не дурак». Я сказал: «Я не говорил, что ты дурак». Он сказал: «Ты думаешь». Мы поссорились в коридоре, при людях. Потом он лёг в аппарат и пролежал двадцать минут, как солдат. Когда вышел, сказал:

— Нормально всё. Только громко.

Результат пришёл через четыре дня. Я забрал его в поликлинике. В заключении было много слов: «очаговые изменения», «лейкоариоз», «атрофия», «гидроцефалия». Я ничего не понял. Я понял только последнюю строчку: «Выраженные когнитивные нарушения. Рекомендовано наблюдение невролога, терапия, уход».

Алла Дмитриевна объяснила:

— Это не болезнь Альцгеймера в чистом виде. У него сосуды. Микроинсульты. Они происходили годами, и он их не замечал. Мозг терял участки, как автобус теряет пассажиров на остановках.

— Можно что-то сделать?

— Можно замедлить. Мемантин, донепезил. Но он не восстановится. Понимаете? Он не вернётся.

— Он помнит меня.

— Иногда. Это будет реже.

— Он помнит, что я его сын.

— Это хорошо. Это значит, что эмоциональная память сохранена. Но она тоже уйдёт.

Она говорила со мной, как с человеком, который должен понять, но не поймёт, пока не увидит. Я это ненавидел. Я ненавидел её за то, что она говорила правду. Я ненавидел себя за то, что не мог заплакать.

— Что мне делать с работой? — спросил я.

— Работать.

— Я не могу оставить его одного.

— Не оставляйте.

— Я работаю двенадцать часов.

— Тогда вам нужен помощник.

— У меня нет денег на помощника.

— Тогда вам нужны деньги.

Она сказала это как рецепт. Я сказал:

— Спасибо.

— Не благодарите. Вы придёте через месяц, и мы поговорим о вас.

— Обо мне?

— О вас. У вас тоже есть давление. И сон. И руки.

Я вышел из кабинета. В коридоре сидела женщина с ребёнком. Ребёнок кашлял. Женщина смотрела на дверь, как на автобус, который опаздывает. Я сел рядом. В голове было пусто. Потом я позвонил Оксане. Она взяла трубку сразу.

— Что сказали?

— Деменция.

— Стадия?

— Умеренная. С прогрессированием.

Она помолчала.

— Тимур.

— Что?

— Ты где?

— В поликлинике. Второй этаж.

— Я сейчас приду.

Она пришла через две минуты. В халате, с бейджем, с шерстяными носками, потому что в поликлинике было холодно. Она села рядом. Взяла меня за руку. Я не плакал. Я смотрел на плакат с мужчиной, который жил до ста лет.

— Я не знаю, что делать, — сказал я.

— Пока не надо знать.

— Надо. Он забыл газ. Он ушёл в депо. Он не помнит, что ел.

— Ты не должен решить всё сегодня.

— А когда?

— Никогда. — Она посмотрела на меня. — Ты не решишь всё. Ты будешь решать по одному дню.

— Это не ответ.

— Это единственный ответ, который у меня есть.

Мимо прошла медсестра с каталкой. На каталке лежал старик и смотрел в потолок. Женщина с ребёнком встала и уступила дорогу.

— Я не хочу, чтобы он меня забыл, — сказал я.

— Он тебя не забудет. Он забудет, как тебя зовут. Это не одно и то же.

— Это одно и то же.

— Нет. — Она сжала мою руку. — Моя бабушка забыла, как меня зовут. Но когда я входила, она говорила: «Вот и моя». Она не помнила имя. Она помнила, что я её.

— Это мало.

— Это всё, что остаётся.

Я кивнул. В горле был комок. Я не мог его проглотить. Я сказал:

— Нормально всё.

— Нет.

— Что «нет»?

— Не говори так. — Она посмотрела на меня. — Ты говоришь это, когда тебе плохо. Я уже научилась различать.

— А если я говорю правду?

— Тогда скажи по-другому.

— Как?

— Скажи: «Мне страшно».

Я посмотрел на неё. В коридоре было холодно. Ребёнок опять кашлял. Женщина с вязанием сидела у кабинета и считала петли.

— Мне страшно, — сказал я.

Она кивнула.

— Вот. Теперь я знаю, что ты живой.

Мы сидели в коридоре ещё десять минут. Потом она ушла на смену. Я поехал домой. Отец сидел на кухне и смотрел на часы. На столе стояли две чашки. Он налил чай и мне.

— Ты опоздал, — сказал он.

— Я был у врача.

— Что сказал врач?

— Сказал, что ты здоров.

— Я знал. — Он пододвинул мне чашку. — Пей. Чай должен кипеть, а не томиться.

Я взял чашку. Чай был горячий. Над ним шёл пар. Отец сидел напротив, положив руки на стол. Его руки были большие, с толстыми пальцами, с мозолями от руля. Я смотрел на них и думал, что через год он, может быть, не вспомнит, чьи это руки. Но я буду помнить.

5. Оксана

С Оксаной я познакомился в поликлинике, но не в кабинете, а в коридоре.

Три года назад ко мне в шаурмичную пришёл парень с порезанной рукой. Он резал помидоры у себя дома и порезал палец до кости. Я отвёз его в поликлинику. В коридоре было полно народу, а он стоял и держал руку над раковиной, и кровь капала на пол. Оксана вышла из кабинета, посмотрела на него и сказала:

— Молодой человек, вы почему не на приёме?

— Очередь.

— Какая очередь? У вас кровь.

Она забрала его, обработала рану, наложила швы и сказала, чтобы он пришёл через неделю. Потом посмотрела на меня:

— Вы его брат?

— Нет. Я его шаурмой кормлю.

— Тогда почему вы его привезли?

— Он мне нравится.

Она засмеялась. У неё был смех, который начинался не с губ, а с глаз. Мы пили кофе в ординаторской. Она сказала, что работает медсестрой двенадцать лет, что устала, что хочет иметь собаку, но у неё нет времени, потому что она работает и учится. Я сказал, что у меня шаурмичная и отец. Она сказала: «Все мы чьи-то дети». Тогда это звучало мило.

Через месяц мы начали встречаться. Через год я подарил ей ключ от своей квартиры. Она сказала: «Ты не торопишься?» Я сказал: «Я тороплюсь, но медленно». Она засмеялась и оставила ключ на столе. С тех пор он лежал у неё в сумке. Она приходила, готовила, уходила. Иногда оставалась.

Она хотела замуж. Я знал это. Она говорила не словами, а вещами. Она смотрела на свадебные платья в витринах. Она сохраняла в телефоне рецепт торта для двоих. Она говорила: «В следующем году мы поедем в Казань». В следующем году. Это было её любимое время.

Я говорил: «В следующем году». Я тоже хотел. Но каждый раз, когда я представлял себе свадьбу, я видел не платье, а отца. Он сидел бы в первом ряду и не помнил, кто я. Или помнил, но не понимал, почему я в костюме. Или понимал, но говорил бы что-то не то. Я не знал, как это вынести. Поэтому я тянул.

В тот вечер я пришёл к Оксане после поликлиники. Она жила на Ленина, в двухкомнатной квартире с мамой, но мама была в санатории. Она приготовила рис с курицей. Я сел за стол и заснул через три минуты. Просто положил голову на руки и выключился.

Она разбудила меня через час.

— Тимур.

— Я не сплю.

— Ты спал.

— Я думал.

— С закрытыми глазами.

Она поставила передо мной чашку чая. Я выпил. В горле пересохло. Я сказал:

— Извини.

— За что?

— Что заснул.

— Ты не спал две ночи.

— Я в порядке.

— Я медсестра. Я вижу, когда человек в порядке. — Она села напротив. — Ты не в порядке.

Я не стал спорить. Я смотрел на её кухню: белые шкафы, чайник, магнит на холодильнике с надписью «Дом там, где ты». Она купила этот магнит, когда мы только начали встречаться. Тогда я смеялся. Теперь он меня раздражал.

— Что сказала Алла Дмитриевна? — спросила она.

— Всё, что ты знаешь.

— Сказала про тебя?

— Про меня?

— Она всегда говорит родственникам: «Вам тоже нужна помощь».

— Она сказала.

— И что ты ответил?

— Что справлюсь.

Оксана кивнула, как будто ожидала.

— Ты всегда так отвечаешь.

— Потому что это правда.

— Это не правда. Это твоя привычка.

Я отставил чашку.

— Оксана.

— Что?

— Ты хочешь поговорить о нас?

— Я хочу поговорить о том, что будет с нами через год. Через два. Через пять.

— Сейчас не время.

— Время всегда не сейчас. У тебя всегда или смена, или отец, или деньги.

— Потому что у меня и есть смена, отец и деньги.

— А я?

Я молчал. Она смотрела на меня. В её глазах не было слёз. Была усталость.

— Я не хочу быть удобной, — сказала она. — Я не хочу быть женщиной, которая приходит, когда есть время. Я хочу быть женой. Или я хочу уйти. Но я не хочу стоять в коридоре и ждать, когда ты освободишься.

— Это шантаж.

— Это разговор, который ты откладывал три года.

Я встал. Прошёлся по кухне. Открыл холодильник, закрыл. На полке стояла банка варенья, которое она варила в июле. На крышке была наклейка: «Тимур». Она всегда подписывала еду, потому что знала, что я забуду, чья она.

— Я не могу сейчас жениться, — сказал я.

— Почему?

— Потому что я не могу быть хорошим мужем, пока не стал хорошим сыном.

Она посмотрела на меня так, будто я сказал что-то очень глупое.

— Кто тебе это сказал?

— Никто.

— Ты сам придумал?

— Да.

— Это плохая мысль.

— Почему?

— Потому что ты никогда не станешь хорошим сыном. — Она сказала это мягко. — Твой отец болен. Ты не можешь стать лучше болезни. Ты можешь только быть рядом. Это не экзамен.

— А что это?

— Это жизнь.

Она встала и начала мыть посуду. Я стоял у стола. Вода шумела. Я сказал:

— Ты уходишь?

— Нет.

— Тогда что?

— Я остаюсь. Но я устану. Это не угроза. Это предупреждение.

Она выключила воду. Вытерла руки. Подошла ко мне. Положила ладонь мне на грудь.

— Я тебя люблю, — сказала она. — Но я не могу любить тебя за двоих.

Я обнял её. Она не сопротивлялась. Она была тёплая и уставшая. Я сказал:

— Я тоже тебя люблю.

— Я знаю, — сказала она. — Я жду, когда ты это сделаешь.

Я не понял, что она имеет в виду. Я думал, что любовь — это то, что чувствуешь. Она думала, что это то, что делаешь. Мы оба были правы, и это было проблемой.

Дома отец не спал. Он сидел на кухне и смотрел на часы.

— Ты где был?

— У Оксаны.

— Вы поссорились?

— Нет.

— Врёшь.

— Не сильно.

Он кивнул. Потом сказал:

— Ты на ней женишься?

— Не знаю.

— Она хорошая.

— Знаю.

— Не тяни.

— Ты тянул?

Он посмотрел на часы. Стрелка шла по кругу. Он сказал:

— Я дотянул.

Больше он ничего не сказал. Он встал и пошёл спать. Я остался на кухне. На столе лежала фотография с надписью «Рашид, не забывай. Гульнара». Я перевернул её лицом вниз.

* * *

Через двадцать минут в телефоне загудел чат.

Я: У отца деменция. Сосудистая. Стадия умеренная.

Марк: Сколько нужно денег?

Я: Пока не знаю.

Настя: Я спрошу у коллег. Есть препараты, которые замедляют.

Лиза: В Тбилиси есть врач, который занимается такими больными. Могу узнать.

Гриша: Деменция — это не конец. Это другая дорога. По ней тоже ходят люди.

Ася: Приходите в Дом культуры. Там есть сцена и чайник.

Я: Спасибо. Нормально всё.

Марк: Ты это уже писал сегодня.

Я: Я повторяю. Для надёжности.

Я положил телефон. За стеной спал отец. Я слушал, как он дышит. Дыхание было ровное, как у человека, который никуда не опаздывает.

6. Ночь

Первая ночь прошла спокойно. Вторая тоже. На третью он ушёл.

Я проснулся в три часа оттого, что в коридоре горел свет. Я вышел. Отец стоял у двери в куртке и шапке. В руке он держал ключи от моей квартиры и старый пропуск в депо, который я не знал, что он хранит.

— Ты куда?

— На смену.

— Ночью?

— Первый рейс в четыре.

— У тебя нет первого рейса.

— Тимур, не начинай.

Он сказал это так, как говорил в детстве, когда я мешал ему чинить карбюратор. Я не стал начинать. Я сказал:

— Хорошо. Смена в четыре. Но сначала чай.

Он посмотрел на часы. Потом на дверь. Потом на меня.

— Чай, — согласился он.

Мы сели на кухне. Я поставил чайник. Отец положил ключи на стол. Он смотрел, как я завариваю чай. Я делал это так, как он: две ложки заварки, кипяток, пять минут, потом долить. Он учил меня этому, когда мне было шесть. «Чай должен кипеть, а не томиться. Чай не любит спешки. Чай любит, когда его ждут».

— Ты кто? — спросил он.

Я замер. Чайник шумел.

— Сын.

— У меня нет сына. — Он сказал это спокойно. — У меня есть напарник.

— Как его зовут?

— Тимур.

— Это я.

Он посмотрел на меня. Долго. Потом сказал:

— Ты похож на него.

— Я и есть он.

— Не ври. Тимур маленький.

Я налил чай. Поставил перед ним. Он взял чашку двумя руками.

— Напарник, — сказал он. — А где автобус?

— В депо.

— Он сломан?

— Нет. Он отдыхает.

— Хорошо. — Он отпил чай. — Завтра первый рейс. Не опаздывай.

— Не опоздаю.

Он кивнул. Потом начал говорить. Он говорил медленно, как будто читал расписание:

— В шесть пятнадцать — вокзал. В шесть двадцать — рынок. В шесть двадцать пять — больница. В шесть тридцать — школа. Там девочка садится. Она всегда опаздывает. Я её жду. Не потому, что положено. Потому что она бежит. Я вижу, как она бежит, и жду. Один раз не подождо. Она опоздала на минуту. Я уехал. Она стояла и смотрела. Я потом всю смену думал: надо было подождать.

— И что?

— Что?

— Ты подождо в следующий раз?

— Конечно. Я всегда жду. — Он посмотрел на меня. — Люди думают, что водитель везёт. А водитель ждёт. Это главное.

Я сидел напротив и держал чашку. В горле был комок. Я не мог говорить. Он продолжал:

— Один раз девочка забыла сумку. Я нашёл её на заднем сиденье. В сумке была кукла. Я привёз на следующий день. Она ждала на остановке. Сказала: «Спасибо, дядя Рашид». Я сказал: «Не за что». А сам думал: вот бы кто-то так ждал меня.

— Кто?

— Никто. — Он пожал плечами. — Я сам уехал.

— Куда?

Он не ответил. Он смотрел в чашку. Потом сказал:

— Ты не уезжай.

— Я не уеду.

— Все уезжают. Гульнара уехала.

Я замер. Он сказал это так, как говорят о погоде. Я спросил:

— Кто такая Гульнара?

— Жена.

— Она умерла?

— Для меня — да.

Он допил чай. Поставил чашку. Встал. Пошёл в комнату. Я слышал, как он лёг на кровать и через минуту заснул.

Я остался на кухне. За окном было темно. Первый автобус уходил в шесть пятнадцать. Я знал это, потому что вырос на автовокзале. Я знал расписание лучше, чем дни недели. Но в ту ночь я впервые понял, что мой отец всю жизнь ждал людей, которые уезжали. И что я был одним из них.

В четыре утра он запел.

Я мыл чашку. Песня была тихая, без слов. Мотив я знал: его пела бабушка, когда чистила картошку. Татарская, длинная, с остановками. Отец не пел слова. Он мычал, но мычал правильно, как будто слова были, просто он их не отдавал.

Я поставил чашку. Пошёл к двери. Он сидел на кровати в майке, с фуражкой на коленях. Он пел ей. Не мне. Фуражке.

— Пап.

Он не услышал. Я сел на стул. Он допел. Потом сказал:

— Это мать пела.

— Знаю.

— Она говорила: «Пой, когда страшно».

— Тебе страшно?

— Нет. — Он посмотрел на меня. — Я пою, чтобы не было страшно тебе.

— Мне не страшно.

— Врёшь. — Он погладил фуражку. — Мне тоже было не страшно, когда я вёл автобус.

А потом я увидел мать на остановке.

— Какую мать?

— Свою. Она стояла в платке. Я затормозил. Пассажиры упали. Она исчезла.

— Это была галлюцинация.

— Это была мать. — Он поднял палец. — Ты не спорь. Ты не был там.

Я не стал спорить. Он надел фуражку. Лёг. Через минуту заснул.

В дверь постучали. На площадке стояла тётя Люба с собакой на руках. Собака не лаяла. Она смотрела на нашу дверь, как будто ждала продолжения.

— Он будет петь всю ночь? — спросила тётя Люба.

— Не знаю.

— У меня муж пел. — Она поправила халат. — Тоже ночью. Я ругалась. Потом он умер. Теперь тихо.

Я молчал.

— Пусть поёт, — сказала она. — Но тише.

— Хорошо.

Она ушла. Собака обернулась и посмотрела на нашу дверь.

Утром под дверью лежала записка. Бумага в клетку, почерк ровный, как в прописях: «Рашид. Пойте тише. Но пойте. Тётя Люба. P.S. Собака больше не лает. Она слушает».

Я прочитал записку дважды. Потом положил её в карман куртки. Я не знал, зачем. Наверное, чтобы помнить, что в этом доме кто-то ещё не спит.

Память — это не шкаф с бумагами. Это радио. Оно ловит одну волну и не спрашивает, хочешь ты слушать или нет. В ту ночь по этому радио пела моя бабушка, а мой отец подпевал ей без слов.

* * *

В детстве он брал меня в депо. Мне было семь. Я сидел в кабине автобуса на его коленях и держал руль. Он говорил:

— Не крути резко. Автобус не любит резко.

Я крутил. Он ловил мои руки. Его ладони были твёрдые, как руль. Он говорил:

— Ты не должен побеждать автобус. Ты должен с ним договориться.

Я не понимал. Я думал, что автобус — это железо. Теперь я знаю, что он говорил не про автобус.

Он научил меня ездить на велосипеде, когда мне было пять. Он держал сиденье и бежал рядом. Я кричал: «Не отпускай!» Он говорил: «Я держу». Потом отпустил. Я проехал десять метров и упал. Я плакал. Он подошёл и сказал:

— Ты проехал десять метров. Это больше, чем вчера.

Он не жалел меня. Он всегда говорил: «Встань. Ты не сломался». Я злился. Я думал, что он меня не любит. Теперь я понимаю: он не умел жалеть. Он умел считать метры.

В ту ночь я сидел на кухне и считал. Один месяц. Два. Полгода. Я не знал, сколько метров нам осталось. Я знал только, что я должен быть рядом. И ещё я знал, что у меня на это не хватит сил. Это было самое честное, что я думал за последние годы.

Я встал. Проверил замки. Вода, газ, окна. Я делал это, как делают обход в автобусе: двери, зеркала, тормоза. В комнате спал отец. Он дышал ровно. Я постоял в дверях. Потом пошёл спать. Через два часа мне нужно было открывать шаурмичную.

7. Дом

Я сделал из квартиры расписание.

На кухне повесил белый лист: «Сегодня — среда, 26 августа. Утро. День. Вечер». На двери в туалет — табличку «Туалет». На двери в ванную — «Ванная. Мыло. Полотенце». На входной двери — «Не выходить без Тимура». В коридоре — список: «Ключи — на гвозде. Очки — на полке. Лекарства — в коробке с надписью „Утро“».

Отец ходил по квартире и читал таблички. Потом взял маркер и написал на листе рядом с «Тимур — сын»: «Рашид — водитель». Потом подумал и дописал: «Не пенсионер. Временно».

— Временно? — спросил я.

— Временно, — сказал он. — Я ещё вернусь.

Я не стал спорить. Я повесил его табличку рядом со своей.

Через неделю квартира стала похожа на кабину автобуса. На окне висело расписание маршрутов. На холодильнике — фотография автобуса номер три. На столе — фуражка. Отец говорил, что фуражка нужна для работы. Я говорил, что дома можно без фуражки. Он говорил: «Дома я не работаю». И надевал её, когда садился за стол.

Он познакомился с соседями. Дядя Володя с третьего этажа пришёл проверить, не пахнет ли газом. Отец сказал:

— Ты кто?

— Володя. С третьего.

— Я Рашид. Водитель.

— Знаю. Ты мне в прошлом году картошку с дачи возил.

— Возил, — сказал отец. — Хорошая картошка.

Он не помнил, но отвечал так уверенно, что дядя Володя поверил.

С соседкой тётей Любой с четвёртого было сложнее. Она держала собаку, маленькую, злую, с бантиком. Собака залаяла на отца в лифте. Отец сказал:

— Собака без намордника. Нарушение.

Тётя Люба сказала:

— Она не кусается.

— Все так говорят.

С тех пор они не здоровались. Собака лаяла. Отец говорил: «Я проверю». Я говорил: «Не надо».

В шаурмичной он сидел у окна. Иногда помогал. Он выносил мусор, протирал столы, складывал салфетки. Один раз он начал принимать заказы. Женщина попросила шаурму без соуса. Он кивнул, взял лаваш и положил туда всё, что было: мясо, помидоры, огурцы, капусту, соус, сыр. Женщина сказала:

— Я просила без соуса.

— Это не соус, — сказал отец. — Это настроение.

Женщина засмеялась. Я тоже. Он не понял, почему мы смеёмся, но был доволен.

В другой раз он обсчитал студента. Студент дал пятьсот рублей, а шаурма стоила двести восемьдесят. Отец отсчитал ему триста двадцать и ещё сказал:

— Сдачи нет.

Студент ушёл. Я догнал его и вернул разницу. Когда я вернулся, отец сидел на стуле и смотрел в пол.

— Я не хотел, — сказал он.

— Я знаю.

— Я думал, что считаю.

— Ты считал.

— Плохо.

— Бывает.

— Не бывает. — Он поднял голову. — Я всю жизнь считал сдачу. Сорок лет. Я ни разу не ошибся.

— Это было давно.

— Для меня это было вчера.

Я сел рядом. В шаурмичной никого не было. Гриль шипел. За окном проехал автобус.

— Пап.

— Что?

— Ты мне не мешаешь.

— Мешаю.

— Не мешаешь.

— Я вижу. — Он посмотрел на меня. — Ты устал. Ты не говоришь, но я вижу. Я тебя вырастил. Я знаю, как ты выглядишь, когда тебе плохо.

— И как я выгляжу?

— Как я, когда у меня сломался автобус.

Он встал. Взял фуражку. Пошёл к выходу.

— Ты куда?

— Домой. Я тебе мешаю.

Я не остановил его. Он дошёл до двери и остановился. Повернулся.

— Тимур.

— Да.

— Я не хочу, чтобы ты меня жалел.

— Я не жалею.

— Врёшь.

— Вру. Но не сильно.

Он усмехнулся. Это была его улыбка, старая, с одной стороны рта. Он надел фуражку и вышел. Через минуту вернулся.

— Забыл ключи, — сказал он.

Я дал ему ключи. Он ушёл. Я смотрел ему вслед и думал, что он прав. Я жалел его. Но не потому, что он был болен. А потому, что он всё ещё был моим отцом и всё ещё носил фуражку.

* * *

Ночью я проснулся от света.

В квартире горели все лампы. На кухне, в коридоре, в ванной. Я вышел. Отец стоял в коридоре, полностью одетый, в куртке и фуражке. В руках он держал ключи.

— Ты куда?

— На смену.

— Три часа ночи.

— Первый рейс в шесть пятнадцать. Надо проверить автобус.

— Автобус в депо.

— Я иду в депо.

— Оно закрыто.

— Я открою.

Я взял его за руку. Он не сопротивлялся. Я увёл его на кухню. Посадил. Налил чай. Он держал чашку и смотрел на часы.

— Опоздаю.

— Не опоздаешь. Сегодня выходной.

— У водителей не бывает выходных.

— Бывает.

— Нет.

Я не стал спорить. Я достал лист бумаги и ручку.

— Нарисуй маршрут.

— Зачем?

— Чтобы я знал, где тебя искать.

Он посмотрел на меня. Потом взял ручку. Начал рисовать. Линия была кривая. Он рисовал медленно, высунув язык. Депо. Рынок. Больница. Школа. Дом культуры. На каждой остановке он ставил кружок. Потом подписывал. Буквы были крупные, как у первоклассника.

— Это третья, — сказал он. — Она идёт через центр. Потом направо. Потом прямо.

— А это что?

— Больница. Там выходят врачи. Они всегда опаздывают.

— Почему?

— Потому что спасают.

Он закончил. Посмотрел на лист. Потом на меня.

— Запомнил?

— Запомнил.

— Хорошо. — Он сложил лист вчетверо. — Положи в карман. Если я уйду, ты найдёшь.

Я положил лист в карман. Он допил чай. Встал.

— Пойдём спать.

— Пойдём.

Я отвёл его в комнату. Он лёг. Закрыв глаза. Через минуту сказал:

— Тимур.

— Да?

— Ты мой напарник.

— Напарник.

— Хорошо.

Он уснул. Я вышел на кухню. Погасил свет. Потом включил. Потом снова погасил. Я боялся, что он снова встанет. Я сидел на кухне до утра. В шесть пятнадцать первый автобус ушёл с перрона. Я слышал его через окно. Отец спал. Он не слышал.

* * *

Вечером пришла Оксана. Она принесла тонометр и измерила отцу давление. Он сидел смирно, как в кабинете. Потом сказал:

— Ты хорошая жена.

— Я не жена.

— Будешь.

Оксана посмотрела на меня. Я сделал вид, что режу хлеб. Она сказала:

— Рашид-абый, вам нельзя солёное.

— Я не солёный.

— Я про еду.

— Еда не солёная. Еда вкусная.

Она засмеялась. Он тоже. Я смотрел на них и чувствовал, как в груди что-то сжимается. Не от боли. От страха. Я боялся, что это закончится. Всё, что было хорошим, заканчивалось. Так было всегда. Я не знал, как это остановить.

8. Деньги

Я считал деньги ночью, когда отец спал.

Выручка за август — сто восемьдесят две тысячи. Аренда — сорок пять. Зарплата двум работникам — шестьдесят. Продукты — сорок. Коммунальные — восемь. Налоги — двенадцать. Оставалось семнадцать тысяч. Из них на лекарства — двенадцать. На сиделку, если её нанять, — сорок. На анализы — восемь. На жизнь — минус сорок три.

Я пересчитал. Потом ещё раз. Потом поменял порядок. Результат был тот же.

У меня была кредитная карта на триста тысяч. Я пользовался ею, когда не хватало. Она была почти пустая. Я платил минимальный платёж, чтобы она не заблокировалась. Это было похоже на то, как я в детстве подкачивал шину у велосипеда: ехать можно, но далеко не уедешь.

Договор аренды заканчивался в октябре. Я арендовал двадцать четыре квадрата у автовокзала. Договор был с МУП «Автовокзал», директор — Нина Фёдоровна Круглова. Она была женщиной пятидесяти восьми лет, с крашеными волосами и голосом, который перекрывал громкоговоритель. Она говорила: «Тимур, ты единственный, кто платит вовремя. Поэтому я тебя люблю».

За неделю до её звонка я пошёл в банк.

Офис был на первом этаже, между аптекой и сотовой связью. На стене висели часы с тремя циферблатами: московское, ольшанское и «время работы». Москва опережала на час. Ольша отставала от всего остального.

Меня встретил Илья, менеджер по работе с малым бизнесом. Ему было двадцать шесть. У него был галстук цвета мокрого асфальта и лицо человека, который выучил слово «стресс» на тренинге.

— Тимур, — сказал он. — Присаживайтесь. Чай? Кофе?

— Чай.

— У нас только кофе.

— Тогда воду.

— У нас только кофе.

— Хорошо. Кофе.

Он принёс кофе в бумажном стаканчике. Кофе был горячий и безвкусный, как все обещания.

— Я по кредиту, — сказал я. — Хочу реструктуризацию.

— Понимаю. — Он открыл файл. — У вас карта на триста тысяч. Просрочек нет. Это хорошо.

— Мне нужно снизить платёж. На полгода. У меня отец болеет.

— Сочувствую. — Он сказал это быстро, как «здравствуйте». — У нас есть программа кредитных каникул. Но она для ипотеки и автокредитов. У вас кредитная карта.

— Это плохо?

— Это другая категория.

— Можно перевести в другую категорию?

— Можно. Через новую карту. — Он улыбнулся. — Мы можем открыть вам карту с лимитом четыреста тысяч. Первые три месяца без процентов.

— Мне не нужна ещё одна карта.

— Это не карта. Это инструмент.

— У меня уже есть инструмент. Он почти пустой.

Илья посмотрел в экран. Потом на меня. Потом опять в экран.

— Тимур, я вам честно. Банк не может дать каникулы по карте. Банк может дать новую карту. Это единственный инструмент.

— А если я не смогу платить?

— Тогда будет просрочка. Потом звонки. Потом суд. — Он сказал это ровно. — Я не хочу вас пугать. Я просто говорю, как работает система.

— А если я принесу справку, что отец болен?

— Справка не меняет платёж. Она объясняет, почему вы не платите. Но платёж остаётся. Я посмотрел на часы. Московское время показывало половину двенадцатого. Олышанское — половину одиннадцатого. Я жил по третьему: по времени работы.

— Скажите, — спросил я. — У вас есть программа для тех, кто ухаживает?

— Для родственников?

— Для сыновей.

Илья задумался. Потом сказал:

— Нет. Но мы можем оформить страховку.

— Какую?

— Страхование жизни. Если с вами что-то случится, кредит закроют.

— А если с отцом?

— Отец не заёмщик.

Я допил кофе. Он был горячий, но уже остыл. Так бывает, если пить медленно.

— Спасибо, — сказал я.

— Вы подумайте про карту.

— Подумаю.

Я вышел на улицу. За стеклом Илья снова смотрел в экран. На его столе стояла фотография: женщина и двое детей. Он был чей-то сын. Он был чей-то отец. Он просто работал в системе, которая не умеет считать заботу доходом.

На площади я купил отцу лепёшку. Она стоила тридцать рублей. Я заплатил картой. Карта пискнула, как будто ей было больно.

В августе Нина позвонила и сказала:

— Тимур, зайди.

Я зашёл. В кабинете сидел мужчина в светлой рубашке. У него были аккуратные руки, дорогие часы и лицо человека, который никогда не ждал автобус. Нина Фёдоровна сказала:

— Это Артур Миронов. Из «СтройГаранта».

Артур встал и протянул руку.

— Артур. PR-директор.

— Тимур.

— Знаю. «У Тимура». Хорошая шаурма.

— Спасибо.

— Я серьёзно. Я ел. Соус — огонь.

Он сел. Нина Фёдоровна вышла, сказав, что ей нужно в кассу. Мы остались вдвоём.

— Я по делу, — сказал Артур. — Вы знаете, что автовокзал будут реконструировать?

— Слышал.

— Не слышали. Вам не говорили. — Он улыбнулся. — Мы планируем транспортный узел. Новый терминал, торговый центр, парковка. Ваша точка попадает в зону.

— И что?

— Мы предлагаем выкуп. Бизнес, оборудование, договор аренды. Сумма — один миллион восемьсот тысяч.

Я не изменился в лице. Я умею не меняться в лице. Этому меня научил отец, когда я сдавал экзамен на права.

— Или, — продолжал Артур, — мы можем предложить вам место в новом комплексе. Аренда будет выше, но поток больше. Это бизнес-решение.

— А если я не хочу?

— Тогда мы будем работать по закону. Договор аренды заканчивается в октябре. Мы не обязаны продлевать.

— Автовокзал муниципальный.

— Пока. — Он сказал это мягко. — Город уже согласовал концепцию. Мы не враги, Тимур. Мы строим город. Вы кормите людей. Это разные профессии.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.